

Таня Климова

Письма к отцу

альпина
ПРОЗА

Москва, 2024

УДК 821.161.1-312.6
ББК 84(2=411.2)6-46
К49

Работа над книгой велась в Доме творчества Переделкино

ПЕРЕДЕЛКИНО

Редактор МАРИЯ ГОЛОВЕЙ

Климова Т.

М17 Письма к отцу / Таня Климова. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 408 с.

ISBN 978-5-00223-244-4

Отец двенадцатилетней Тани погибает в теракте в Ростовской области. Через проживание этого горя и рассказ о собственной жизни взрослеющая героиня осмысляет историю своей страны. Изучая литературу русской эмиграции и разбираясь в собственном прошлом на сессиях с психологом, она рассматривает отношения с отцом сквозь призму культуры, обращаясь к чужим историям — к опыту дочери Сталина Светланы Аллилуевой, к восприятию отцов Марины Цветаевой, Бориса Рыжего, Жан-Поля Сартра, Петера Эстерхази и других известных литераторов.

Таня Климова — писательница, преподавательница, исследовательница литературы и резидент Дома творчества Переделкино.

УДК 821.161.1-312.6
ББК 84(2=411.2)6-46

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-244-4

© Т. Климова, 2024
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

Но если честным быть в конце
и до конца —
лицо свое, в своем лице
лицо отца.

Борис Рыжий

Вместо предисловия

Больше всего на свете я боюсь смерти. Это так глупо, но всякий раз, когда кто-то в социальной сети выкладывает чью-то фотографию или меняет собственную аватарку, — я думаю о том, что его не стало, ком в горле образуется сам по себе, я не могу его проглотить. Когда узнаю, что человек все-таки жив, — равнодушно брожу по странице, обновляю новости — забываю о человеке (он словно — по-настоящему — умирает в моем сознании, но такой смерти я уже не боюсь).

Иногда мне снится, что умирает моя мама. Я вздрагиваю, просыпаюсь среди ночи, говорю: «Никто не умер, никто не умрет, никто не умирает вообще, а если и умирает, то пусть умирает кто-то другой», шепчу имя бывшего парня, который, кажется, живее всех живых и которого я совсем не помню, но в моей реальности он отвечает за все грехи человечества (кто-то же должен за них отвечать).

Я знаю, почему так происходит, я знаю, кто виноват в том, что я заиклилась на смерти, но мне тяжело произнести его имя, потому что я никогда его не произносила. Я звала его папой. Он и был моим отцом.

Часть первая

Глава первая

Зачем?

Простыня пахнет медом, надо мной склоняется мама, я не могу уснуть от страха и тревоги. Я осознала, что все люди смертны, что даже самые лучшие, самые знаменитые, самые богатые умирают.

Я захлебываюсь от слез.

— Не говори глупости, в то время, когда придется умирать нам с отцом, уже изобретут лекарство от смерти, люди будут жить вечно.

Я успокаиваюсь от ее раздражения, глажу руку, на которой еще нет морщин, ни единой морщинки нет и на моей руке, ее ногти длинные, розовые, она ни разу на моей памяти не пользовалась лаком для ногтей, ее тело мягкое, взгляд грустный, возможно потому, что она знает, что никаких лекарств не существует, что когда-то уже были Богданов и Гастев, мечтавшие о воскрешении, о вакцине от смерти (будто смерть — какой-то страшный вирус). Их полудетские, наивные, до ужаса простые размышления реализовались на практике: «капсула бессмертия» до сих пор лежит на Красной площади в Мавзолее.

Я знаю, что она пыталась меня утешить, я знаю, что невозможно быть готовым к разговору о смерти, особенно если ты пять лет назад родила долгожданную дочь, только что

расписалась в собственном бессмертии, бросила живительное семя, которое, вероятно, рано или поздно должно взойти, а если не взойдет — ничего, у тебя есть дополнительное: после долгожданной дочери ты родила долгожданного сына.

Я знаю, что мама часто меня обманывала в утешение, она не хотела причинить мне зло — она жаждала спасти себя от отчаяния, огородив собственную жизнь и жизнь своих детей частоколом правил, окунув с головой в магическое мышление — посмотри в зеркало, а то дороги не будет; давайте посидим перед путешествием, чтобы дорога не путалась; сплюнь, а то сглазишь; Дед Мороз к плохим детям не приходит, приходит к хорошим; у тебя ресничка упала, угадай, в каком глазу; нужно желание загадать, загадывай, все верно, сбудется! Она приглашала подруг, устраивала обеды и ужины в уличной беседке, пекла для этих встреч пироги и носилась с улицы на кухню, с кухни на улицу за солью, перцем, ножом на замену упавшему («Девчонки, а мы какого-то мужчину сегодня ждем?»), тряпкой, чтобы собрать стекло, оставшееся от разбитого бокала: «На счастье, конечно же, на счастье, у нас этого счастья еще много-много с вами будет!» Подруги пели песни, пили вино и водку, после вина и водки плакали («Все к лучшему, все плохое всегда к лучшему») и говорили матери, что она счастливая — двое детей, работающий муж с золотыми руками — все, чего она так давно хотела, намечтала, дождалась.

Папа приезжал из экспедиций — он у меня смешивается с отцами из разных книжек, поэтому я в который раз пытаюсь написать что-нибудь о нем и в который раз эта идея разбивается, как бокал с шампанским в потных, трясущихся

руках тети Оли, — не могу представить его настоящим. Сегодня у меня снова не получается уловить его. Опять он улыбочивый, отстраненный, с мешком подарков: вы хорошо себя вели, дети? И опять это не он, снова это Дед Мороз из моего страшного сна, который я увидела после того, как мама сказала, что поздравление Деда Мороза я должна заслужить своим поведением, должна заслужить любовь другого человека, вызвать — сама, трехлетняя — у взрослого, бородатого мужчины желание сделать мне подарок.

Я знаю, почему папа Дед Мороз, — как-то я нашла в его секретере детские книги, увидела и влюбилась, хотела получить и не понимала, почему папа не рассказывает о них нам с братом. Когда папа уезжал на работу, я пробиралась в его кабинет и читала тайные — заманчивые — рассказы, вздрагивая от каждого шороха. Подбегала к окну — выглядывала, нет ли его машины, и снова — на цыпочках — бежала в кабинет. Когда я дочитала все рассказы, наступил канун Нового года. Утром я обнаружила книги под елкой. Подарок от Деда Мороза.

Папа всегда откуда-то приходил, всегда отгораживался — определенным временем, в которое его можно беспокоить, и временем, в которое его беспокоить нельзя (мама говорила, что первое слово, которое я произнесла, было «часы», второе — почему-то — «папа»); рукой, прикрывавшей записи, которые он вел, и названия книг, которые он читал (когда оправилась от его смерти — первым делом прочла все, что он от меня скрывал); словом, словосочетанием, восклицанием, в котором всегда сквозила скрытая насмешка, из-за этого я чувствовала себя маленькой, а его — великим

и остроумным. Я опять не уверена, что пишу это об отце: как только произношу — про себя, — как только закрываю глаза, чтобы закрепить чувство, — вспоминаю не мужчину из детства, а бывшего парня — остроумного, обаятельного, почти идеального, но держащего дистанцию, избегающего близости, дающего мне иллюзию безопасности, впрочем, во всем этом мне еще предстоит разобраться. Я пишу это, чтобы понять, что я из себя представляю, чтобы исследовать, как влияет на девушку, представительницу первого — свободного — постсоветского поколения, ранняя смерть отца и что вообще такое — отцовство.

Глава вторая

Фото и FOMO

Сегодня пропустила сеанс с психологом, потому что думала, что заразилась омикроном — новым ковидным штаммом; говорят, что вся Москва в этом феврале — 2022-го — болеет омикроном. Я сделала тест на коронавирус, ждала результат с тревогой и заведомым облегчением — можно будет отдохнуть неделю без работы, но в замкнутом пространстве; просыпаться от звонков курьеров, апатичные дни разнообразятся экраном ноутбука, окошком смартфона, лентой фейсбука*, эффектом FOMO от скроллинга в инстаграме*. Ковид заставил ценить домашний уют и не искать оправданий отсутствию желания встретиться в баре. До пандемии я тяжело переносила одиночество, а в первый карантин чувствовала невыносимую боль оттого, что каждый день был похож на предыдущий, а я любила бывшего парня «парадным», «разнообразным», в барах и ресторанах, в Париже и Венеции, на тусовках у друзей и на набережных с бутылкой вина. Где угодно, но не в однушке, в которой мы провели много тревожных дней — с марта до мая, потом сделали передышку на несколько месяцев — друг от друга, в августе расстались.

* Продукт компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации.

Тест показал отрицательный результат.

Утром мама прислала фотографию из инстаграма* какой-то возрастной женщины, написала «тридцать лет прошло» (тридцать лет еще даже мне не прошло!). Фотография общая, множество незнакомых мне мужчин и женщин, проживающих — как я поняла — последние дни Советского Союза. Среди всех этих людей разглядела папу — расправленные плечи, расстегнутые верхние пуговицы на белой рубашке (фотография черно-белая, поэтому мне нравится думать, что рубашка идеально чистая). Папа был красивым человеком, я понимаю, что в нем находили женщины — харизма, чувство юмора, отстраненность и тотальное равнодушие, смешанное с притворным участием. Когда он смотрел в камеру (а какая-то женщина с криво постриженной челкой смотрела на него) — я еще не родилась. Думаю, его отношения с мамой только зарождались, поэтому фотография для нее не про «тридцать лет назад», а про сейчас: сегодня утром она увидела в чужом инстаграме* того, в кого влюбилась когда-то, сегодня время для нее сделало круг, прокатилось по спирали — ожидаемое будущее стало желанным прошлым, эйфория от грядущего сменилась ностальгией, но, наверное, это приятная минута, когда ты — в отличие от кое-кого — дожила до двадцатых годов двадцать первого века и можешь показать дочери от него — вызывающего радость — ту самую фотографию.

* Продукт компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации.

Мама рассказывала, что до папы встречалась только с одним парнем, но, кажется, около семи лет. Они планировали пожениться, потому что все мамины подруги вышли замуж, а она боялась остаться старой девой. Этот парень нравился всем ее бабушкам и тетушкам (мама ценила мнение бабушек и тетушек), но не нравился маме, зато он позволял быть ей такой, как все, — она больше всего на свете этого желала. Мама писала стихи, носила белый сарафан на тонких бретельках, вовремя сдавала в библиотеку книги и даже стучалась в калитки задолжниц по просьбе библиотекарши. Еще она любила разглядывать картинки и вырезать из газеты портреты симпатичных (как ей казалось) людей. Днями и ночами она этим и занималась — вырезала картинки вперемежку с учебой в педагогическом университете и хождением в библиотеку — скрипя по снегу, прыгая по лужам, собирая по пути ромашки, взрывая новенькими сапожками опавшую листву.

В один день мама проснулась и поняла, что не хочет жить как все, что если жить как все, то и жизни никакой не будет. Ей осточертел парень, который нравился бабушкам и тетушкам, город, где она была вынуждена учиться в нелюбимом — компромиссном — педагогическом университете, и мир, в котором все не так, как в стихотворениях Эдуарда Асадова. Она уехала в другой город, чтобы забыть тот, прежний, чтобы ее не искал нелюбимый парень, чтобы бесконечные бабушки и тетушки не вмешивались в ее планы. В новом городе мама устроилась на работу в школу и каллиграфическим почерком выводила на доске слова для морфологического разбора — «свобода», «любовь», «счастье», «дружба».

А потом — на конференции для повышения квалификации — встретила мужчину. Он был старше нее, имел кандидатскую

степень и читал лекцию для студенток педагогических вузов. Она видела, с каким обожанием слушательницы смотрели на него, и даже мечтать не могла о том, что когда-нибудь заговорит с ним сама.

Мама не рассказывала о том, как все же случилось так, что они заговорили. Но — среди множества вырезанных мужских фотографий — в блокноте, куда она переписывала стихотворения Эдуарда Асадова, осталась одна. Это была фотография папы, случайно обнаруженная в газете.

У меня нет ни одной фотографии, где я бы стояла рядом с отцом. Есть я, отец и мой брат; я, отец и его студенты; я, отец и его сын от первого брака; я, отец и его приятель; я, отец и незнакомые мне люди — мужчины и женщины. Папа редко фотографировался, чаще всего он забирал нас с братом в путешествие по нашему же городу, исследовал вместе с нами родное пространство, запечатлевал нас в тех местах, которые я потом — по тем детским фотографиям — разыскивала, чтобы ощутить их наяву и что-нибудь вспомнить (безуспешно). Папа снимал нас на пленку и печатал фотографии в нескольких экземплярах, чтобы отправить их какому-то мистическому дяде Вите, его брату, которого я никогда в жизни не видела, но читала черновики отцовских писем к нему — папа рассказывал о моих школьных успехах, делился моими — тайными — буднями. Этот незнакомый мне человек знал меня такой, какой я себя не помнила. Почему, папа, ты не познакомил меня с дядей Витей? Почему создал очередную загадку, лакуну, которую я сейчас — заняться мне больше нечем — вынуждена заполнять фантастическими предположениями?

Я не знаю, жив ли этот дядя Витя, но представляю, как кто-то из его детей или внуков находит фотографии кудрявой девочки с разноцветным зонтом и улыбчивого мальчика на фоне реки, как спрашивает: «Дедушка, кто это, мама?» — почему дедушка хранит эти фотографии, «я понятия не имею, сынок», ему их присылал, кажется, кто-то, когда-то, давно, просит не выбрасывать. А быть может, их вставили в какой-нибудь фотоальбом, который никто не пересматривал лет десять, а когда пересмотрит — не поймет, чьи это дети, но выбрасывать фотографии не станет, фотографии — это память, дядя Витя ценил этих детей, раз сунул их фотографии в фотоальбом. Мы — странные, неузнанные, одинокие — будем смотреть сквозь вечность на этого — незнакомого нам — человека.

Я приветствую тебя отсюда, с этой страницы, кем бы ты ни был.

Глава третья

Я не знаю

«Спасибо тебе за занятие. Может быть, появились еще вопросы?» — так я заканчиваю каждый урок с моими учениками. Я преподаю не столько литературу, сколько способность разобраться со своими эмоциями, выработать критическое мышление, понять себя — через разговор о другом, через обсуждение художественного произведения. Чем бы я ни занималась, я всегда испытываю тревогу оттого, что нахожусь не на своем месте, что получаю чужую зарплату, что делаю недостаточно. Но занятия с учениками — это другое. Здесь я чувствую себя собой, здесь я осознаю, для чего живу — для того, чтобы дать понять человеку, что он значим, что он любим и что каждая его реакция — верная. Я ощущаю, что бросаю вызов школьным урокам литературы, критически отношусь к личности автора и концентрируюсь на мыслях и чувствах ребенка.

Многие ученики напоминают мне меня десять, семь, пять лет назад. Мы попадаем в схожие ловушки, рефлекслируем на схожие темы и совсем не отличаемся в стремлении познать окружающий мир.

У ученицы, шестиклассницы, любительницы американских комедий, размышляющей о лидерстве и читающей «Пеппи Длинныйчулок» по моей рекомендации, после занятия вопросы появились.

— Я люблю документальные фильмы, хотя большинству моих одноклассников они не нравятся. Как вы считаете, почему так происходит?

Я понятия не имею, почему так происходит. Возможно, потому что реальная жизнь интереснее художественной интерпретации, значимее самой выдумки.

Я всегда предпочитала «человеческие документы» толстым романам с множеством персонажей, в письме, телеграмме, надписи на открытке и подаренной книге для меня больше жизни, чем в рассказе с банальным сюжетом и вымученными диалогами. Я не знаю, как нужно писать, я не знаю, какая литература может нравиться, я не знаю, стоит ли думать о том, что скажет читатель, как отнесется критик, понравилось бы отцу.

По сути, все, что когда-либо было написано в моей жизни — начиная с шести лет, — посвящено папе. Я постоянно прокручиваю перед глазами его смерть, в мельчайших деталях воссоздаю ощущение пустоты, которое возникло у меня перед обмороком, случившимся после того, как я услышала: «Папы больше нет».

В каждом моем — даже детском — рассказе присутствует смерть значимого взрослого, папа там всегда разный, но чаще всего — такой, без которого невозможно обойтись.

Ночь с 9 на 10 марта 2015 года

Папа, я хочу поделиться счастьем. Впервые за долгое время — настоящим счастьем! Тем, которое не зависит от обстоятельств, а находится внутри и оттуда, изнутри,

вдохновляет, дает силы «на жизнь». На эту страшную, странную двадцатидвухлетнюю жизнь, в которой большинство моих ровесников существуют только благодаря антидепрессантам. Я влюбилась.

Влюбилась еще лет пять назад, потом возвращалась к нему, периодически думая о других. За последний год вспышек-возвращений стало больше. И сегодня, прогуливаясь по тем московским местам, которые стали нашими с ним, поняла, что не хочу без него жить. Он бы тебе понравился: остроумный, заботливый и тонко чувствующий. Ты его такого бы мне пожелал.

Сегодня — как в кинохронике — все памятные, ничего не значащие моменты. На этот раз моменты, в которых тебя не было, но был он. Да нет, ты был. Был! Однажды я написала повесть, где тебе была посвящена одна глава. Эта повесть обсуждалась на творческом семинаре. И я взяла его в оппоненты. Ему никогда не было близко мое мироощущение — сознание маленькой, наивной девочки, как он тогда говорил. Но мне было важно, чтобы он высказался о том, что я прожила за девятнадцать лет. Прочитал — раскритиковал. Сказал, что все герои мертвы. Кроме одного — отца. Я писала о тебе с нежностью, с упоением, с благодарностью, вытирая слезы. Тогда я еще оплакивала тебя. И он прочел и оценил главу об отце, не зная, что отец был не выдуманным, а настоящим.

О том, что ты умер, когда мне исполнилось двенадцать, он узнал только спустя пять лет. Символично: на выпускном. Не помню, каким образом: я была пьяна. Мы всем курсом забились в вагон метро. Ехали за «продолжением банкета» в бар. Толпа пьяных, веселых людей. Шутки, смех, счастье от прожитой жизни и надежда на новую. Он стоял в вагоне рядом со мной. Наклонившись, спросил:

— У тебя правда умер отец?

— Правда.

Потом мы шли вдвоем к бару, и он расспрашивал о тебе. А я ничего не могла ответить — не знала, что отвечать. Не тот день. Но тот — он. Тот — ты. Все сошлось.

Потом, спустя полгода, мы встретились в предпоследний день 2014-го. Мы уже выпускники. Мы хотим говорить друг с другом. Мы снова пьяны. Он провожает меня до общежития (кафе, вино, метро, улица). Метро закрывается. Его не пускают туда, где он не живет. Суровая охранница: «Девушка, вы можете зайти! Он — нет». Я остаюсь с ним. Мы даже не подумали о такси: переночевали в гостинице. Мне хотелось говорить с ним, хотелось ему доверять. Я рассказывала ему о тебе. И оплакивала тебя впервые за долгое время. Впервые после написания той повести, которую он раскритиковал.

Сегодня — март. Сегодня его не было в том баре, по пути к которому я рассказывала ему о тебе. Но были песни, которые он любит. Были люди, которых он знает. Был бар, о котором он спрашивал меня несколько дней назад. Мол, когда пойдем в него. Пошла и зачем-то не с ним. Затем, чтобы по нему скучать.

Вчера я была на свидании с другим человеком. А он, объект моей влюбленности, кажется, встречается с девушкой, которую не любит. Нам все время что-то мешает. И я не могу понять, что.

Он иногда мне снится — влюбленный, но скромный, не умеющий подойти. Он даже приснился моей подруге — говорит, что был влюблен и хотел меня поцеловать. Рассмеялась. Как глупо, как по-детски, как наивно. Нам что — семь? Нет, теперь мы взрослые. Теперь взрослые — это мы.

— Это наша первая зима без сессии. Ты чувствуешь счастье?

— Нет, наконец-то нормальное состояние — я будто на школьных каникулах.

«Все мы — дети», — сказал мой шестидесятилетний научный руководитель. Ты бы полюбил его больше всех на свете (даже больше меня). Он наслаждается жизнью каждую секунду, он влюблен в собственное дело. Такие люди тебе всегда нравились, ты хватался за них и никогда не отпускал. Тебе нужны были личности. Но не властные, а увлеченные. Ты считал, что нет в жизни вещи важнее той, что называют «делом жизни». У тебя было это дело жизни — история, археологические экспедиции, рабочие командировки. И на вторых ролях — твои жены и твои дети.

Тот парень однажды сказал, в своей полуигривой и наивной манере:

— Я уважаю Пелевина и Тарантино за то, что у них не было жен.

Ему тоже важно, чтобы кто-то отдавал себя «делу». Мне же важно другое: восьмое марта в нашем доме, на столе — ромашки, подаренные маме рано утром. Я просыпаюсь. Солнечный луч на деревянном полу. Шипение на кухне. Мои босые ноги. Мама, папа, выходной, каникулы!

Перечитывание писем к отцу, пролистывание дневников пятилетней давности вызывают ком в горле, замирание сердца, дрожание пальцев, тошноту, дикий стыд, щемящую жалость, сильную злость.

Глава четвертая

Миру нужны истории

Мне нравится писать о себе в третьем лице. Это придает некую отстраненность, загадочность. Но выглядит пафосно — будто закадровый голос в плохом фильме. Кстати, как они выбирают — какие фильмы плохие, а какие хорошие? По мне — если честно — все плохие. Когда на экране мелькают люди, произносят слова, куда-то бегут, я прямо физически чувствую время: десять минут, пятнадцать, полчаса, час, — моя жизнь — бесценная — проходит в угоду чьей-то выдуманной, ненастоящей. Я дарю себя кому-то, кто — придумываю, подыскиваю актеров, советуясь с оператором — создавал нечто, чтобы кто-то за этим следил.

Миру нужны истории, чтобы он не расщепился на атомы, не растворился во фрустрации, не умер от бессмыслицы.

Отец ушел, когда ей исполнилось двенадцать. Не по своей воле — погиб во время теракта в Ростовской области. Она долго не могла осознать, как такое случилось — какие-то люди намеренно готовили бомбу, а один человек решился пойти на жертву, чтобы случайным образом она лишилась единственного собеседника, первого и последнего значимого взрослого. Она не знала подробностей о том взрыве, не узнавала специально, чтобы думать о том, что папа — это не тот, кто не успел сориентироваться во время чужой — разрывающей всех

и вся — боли, не тот, кто лежал в каком-то там гробу в окружении своих студентов и бесконечных маминых родственников, не тот, к чьей могиле подбирали памятник, а потом искали фотографию, на которой он получился лучше всего (папа — красивый и фотогеничный, можно было брать любую фотографию, но нет же, они искали самую лучшую). Не тот, у кого есть могила, не тот, кто на кладбище. Тот, кто здесь — рядом, тот, кому можно написать письмо, тот, кого она видит в своих самых ярких снах.

Сон — всегда — один и тот же: она в комнате, пахнувшей плесенью и книгами, одна — среди плесени и книг; на улице — дождь, в комнате отчего-то солнце — неизвестно откуда взявшийся луч на незнакомом паркете, она — иногда — в луче. Во сне ей больно и страшно, хочется кричать о том, как одиноко, что нужно домой, ей необходимо, чтобы ее от этих книг, плесени, устрашающего паркета унесли — желательно на руках, в пледе, далеко отсюда, к морю. Она плачет навзрыд — чего никогда не делала в реальности — и неожиданно узнает, что в этой квартире есть вторая комната. В комнату ведет тяжелая дверь, открывается с усилием, но чем старше становишься — тем легче поддается. За дверью — стол, стул, секретер. За секретером — папа, что-то пишет, он всегда пишет стоя, утверждал, что так работает лучше. Папа оборачивается и улыбается. Но никогда ничего не говорит. Иногда молча обнимает ее, но после того, как она провела ночь с парнем, еще несколько ночей с ним же, а потом с другими — разными — парнями, папа ее больше не касается. И ей от этого тоже — невыносимо больно: очень нужно, очень хочется, чтобы касался. С девятнадцати лет он перестал обнимать ее во сне, с двенадцати — в реальности. Но и во сне, и в настоящей жизни она все еще помнит, как он пах,

хотя тетя говорила, что сначала забывается запах, а потом — через несколько лет — и форма ладоней, и складки, когда он хмурится, и уголки губ, когда улыбается, и веки, и ресницы, которыми прикрывает мудрые — всегда горящие — серые глаза. Она до сих пор — в мельчайших деталях — помнит все.

Иногда она вбивала папину фамилию и инициалы в поисковике и читала то, что пишут об учебниках, которые он издавал, посты его бывших студентов, до сих пор почему-то помнящих о нем и изображающих его таким, каким она никогда его не видела, и даже представить не могла значение, что имели его слова для многих людей. У папы никогда не было интернета, папа погиб до изобретения социальных сетей.

Мир очень изменился, папочка. Теперь самый страшный день в нашей с тобой жизни входит в «Топ-20 терактов в России» — голая статистика об умерших, о тебе — мертвом — не написали ни одной статьи, только о живом, таком, каким тебя помнили.

Она писала ему письма. Иногда зачитывала их психологу, который хвалил их за слог. Она ухмылялась лицемерной — как ей казалось — похвале. Папа считал, что никому нельзя верить и ни от кого ничего нельзя ждать, а комплименты для дочери опасны — «обрадуется, вот и выйдет замуж за нелюбимого». Кажется, она сейчас себе соврала — в лексиконе отца не было таких слов: «нелюбимый». Они никогда не говорили ни о любви, ни о сексе, ни о его многочисленных детях от разных женщин, ни о том, почему — из всего

этого многообразия — он выбрал маму, а они с братом оказались его последними, «новенькими», детьми. Говорили только о книгах, которые отец покупал каждую неделю: они заходили в книжный, он отдавал свой портфель дочери или сыну и пропадал в стеллажах, кажется, на вечность. Дочь и сын передавали друг другу тяжелый портфель — нельзя было ставить на пол — и листали издания, пахнущие типографской краской, другого развлечения в этих «книжных» вечерах для них не отыскивалось.

Книги находили прибежище в кабинете отца, он так и назывался — скромно — библиотекой. Эта библиотека, как и папин портрет в золотой раме над секретером, будет сниться ей в институтском общежитии, домах друзей и парней, в каждой съемной квартире. Для библиотеки папа мастерил книжные шкафы, самостоятельно выпиливал из заказанных где-то досок (эти доски привозили грузовики, каждый грузовик, въезжавший во двор их частного дома, был чем-то торжественным, праздничным; они с братом носились рядом — встречали; наверное, ни один Дед Мороз не вызывал в них столько радости, сколько они ощущали, вслушиваясь в рев очередной машины с огромным кузовом), а потом скрупулезно вносил выходные данные изданий в специальную записную книжку. Книги ставились четко по алфавиту — для каждой было определенное место как на полке, так и в отцовской библиографии. Каждому — даже самому сказочному, удивительному — произведению присваивался индекс ББК, так ее любимые — уникальные — книги становились винтиком в системе под названием «отцовская библиотека».

Эта система помогала упорядочивать хаос, о существовании которого она узнала только после отцовской смерти.

Сидела в библиотеке, пролистывала его ежедневники, в которые он что-то записывал всю сознательную жизнь. После его смерти оказалось, что записывал все: состояние здоровья, фазы Луны, количество выпавших зубов сына, математических уравнений, решенных дочерью (это было просто: она не умела решать уравнения, поэтому численность выполненных ею заданий по математике составляла около нуля), рост детей, список необходимых им книг, список книг, прочитанных за день, список предложений, составленных дочерью, список съеденных продуктов, список продуктов, к которым никто не притронулся, список списков литературы (по темам, родам, жанрам, тысячелетиям, годам). Кажется, по этой отчаянной систематизации можно было составить полное представление об отце, но чем больше она вчитывалась в мертвые — статистические — буквы, тем яснее понимала, что папу она не знала никогда, тем сильнее ей хотелось его — такого молчаливого, спокойного, взвешенного, закрытого даже от собственной жены, от своих детей — разгадать.

Глава пятая

О страхе смерти

Я прохожу курс терапии больше полутора лет, но никогда не заговаривала о страхе смерти, говорить о нем — это как вспоминать о том, что у меня есть две руки, две ноги, волосы — на голове и на теле. На одном из сеансов мы — как до этого не бывало никогда — обсудили все темы, которые меня волновали, меньше чем за полчаса. Психологиня — растягивая время — спросила, нет ли чего-нибудь еще, что питает мою тревогу. Я ответила:

— В целом ничего такого, все как обычно: я боюсь телефонных звонков, потому что они могут быть вестниками смерти, а еще если в книге встречается момент, где кто-то умирает, я судорожно стараюсь ее дочитать — пропускаю станции в метро, регистрацию в аэропорту, опаздываю на работу, на занятия с учениками, на встречи с друзьями. У меня руки трясутся от статей под заголовками «Ушедшие в 2020-м», когда я вижу упоминание о чьей-то смерти в фейсбучном* посте — внимательно читаю все комментарии в надежде, что кто-нибудь напишет опровержение.

Психологиня сказала, что это серьезная проблема, и попросила прочесть книгу Ирвина Ялома, экзистенциального психотерапевта, пишущего о страхе смерти. По еще не до

* Продукт компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации.

конца осознаваемой привычке я загуглила, жив ли Ялом. Удивилась, что он — счастливый, девяностолетний, дающий автографы, презентующий новые книги, выступающий перед большой аудиторией — жив.

Раньше я никогда не задумывалась о том, насколько силен мой страх *смерти*, он просто жил во мне, с самого детства.

Помню, как я — шестилетняя — входила в кабинет к отцу, чтобы пожелать ему спокойной ночи, и старалась выговорить свое пожелание отчетливо, просвистеть первую согласную, чтобы не получилось «покойной ночи», ведь если получится «покойной ночи» — это значит, что мой папа обязательно *умрет* в эту ночь, исчезнет, растворится, завтра у меня не будет папы, а виновата в этом буду только я.

Когда он погиб по-настоящему, после теракта в Ростовской области, я не винила чеченских сепаратистов, как это делали люди в интернете, в пабликах обсуждая происшествия нулевых, а пыталась вспомнить, не сказала ли я чего-нибудь, связанного со *смертью*, в ночь перед отцовским отъездом.

Я лежала в темноте в своей комнате и плакала оттого, что не могу быть со всеми близкими мне людьми, не могу убедиться, что они спят, живы, дышат. Мне нравилась идея существования бога, который — всевидящий — следит за каждым из них, нравилось, что его — бога — можно попросить о бессмертии, я и просила — для папы, мамы, брата, бабушки, тети Ираиды, дяди Жени. Не знала, существует ли у бога лимит этих просьб, но — на всякий случай — просила только о самых родных, чтобы не перегружать его, чтобы Он точно сохранил тех, кого нужно.

Мне страшно, когда моя подруга неожиданно улетает в родной город (*умер* кто-то из родителей?), когда в новостных уведомлениях сообщается о крупной аварии в центре Москвы, когда узнаю об очередном теракте, когда мой парень долго не отвечает на сообщения, когда кто-то опаздывает на встречу (поэтому стараюсь опоздать сама, чтобы не ощущать это зыбкое, всепоглощающее чувство пустоты, сменяющееся режущей изнутри тревогой). Мне страшно — почти всегда — где бы я ни была, чем бы ни занималась. *Смерть* приходит ко мне и во снах — в виде моей бабушки, похороны которой я проигнорировала, поэтому она в моем сознании либо мертвая в собственной постели (я могу воспроизвести день ее смерти поминутно), либо облокачивающаяся на березу в саду, тяжело дышит, по-детски улыбается, вызывает щемящую жалость, как в тот день, когда у нас совсем не было денег, а потом папа получил зарплату, купил колбасу и апельсины, колбасу быстро съели, она почему-то не досталась бабушке, я готова была *умереть* от стыда, что мы забыли предложить ей бутерброд, но она потянулась к апельсину со словами: «Ну ничего, апельсинки съем»; колбаса, не съеденная бабушкой тогда, — это моя самая сильная вина, трагедия и боль.

На уроках русского языка я не любила морфологические разборы, не понимала, зачем лично мне нужна эта сухая структура, делая упражнения — придумывала истории, связанные с разбираемыми глаголами, прилагательными и существительными, чтобы не было так скучно. Сейчас — поняла: это нужно, чтобы отключиться от прямого значения, чтобы встроить символы в бездушную схему. Чтобы не было так страшно. Чтобы можно было контролировать.